

АНДРЕЙ КИРИЛЛОВ

Византия: политика и наррация в условиях нестабильности

Анализ западных кратических практик и идеологий в отечественной гуманитарной литературе давно стал хрестоматийным сюжетом. В этой связи представляет интерес рассмотрение «иных» стратегий властвования, реализованных в параллельных культурных мирах. Речь пойдет о родственной для западного мира, но все же глубоко автономной восточно-христианской цивилизации, впервые в христианской истории явившей примеры ойкуменической модели власти. Для автора представляет особый интерес конституирующая роль кратических практик, канонизированных в Византии, и их влияние на конструирование базовых моделей византийской идентичности, структуры персонального и социального опыта, мемуаративные практики и специфическую организацию текстуального пространства византийской исторической словесности.

Вне власти трудно представить себе любой исторический сюжет у византийских авторов. Именно власть является тем стержнем, вокруг которого выстраиваются политические, теологические, социально-исторические и персональные коды, пронизывающие византийский нарратив. Власть в византийской системе координат выступает универсальной матрицей позиций социальных агентов. Описание системы их отношений сквозь призму господства-подчинения, навязывание иерархической логики, концентрация напряжения в пространстве коммуникации, обретающем политическое измерение, — все это превращает власть в механизм нарративной сборки, обнажает зыбкость границ между политическими технологиями и техникой рассказа. Более того, темпоральность в византийском нарративе получает кратическое прочтение, поскольку каждый из традиционных временных регистров соотносится с позицией персонажа относительно власти.

Византийское повествование структурируется в трех временных регистрах: «до власти», «во власти» и «после власти»/«вне власти». «До власти» — время умолчания, предшествующее началу истории, которая берет начало от столкновения персонажа и власти, столкновения, превращающего цело-

века в политического агента и личность одновременно. Это время лишено детальной повествовательной проработки. Оно существует лишь в маргиналиях: в оговорках и прозвищах, позволяющих неожиданно реконструировать географическую локализацию или контуры генеалогии персонажа (например, прозвище Иоанна – Итал – указывает на его этническое и территориальное происхождение). По сути дела политический персонаж приходит из ниоткуда, освобождение от прошлого, точнее, от необходимости рассказывать о нем придает идентичности мобильность, необходимую для штурма властных высот. «Во власти» – временной континуум, в котором человек становится заметен для истории, а следовательно, обнаруживает себя в пространстве повествования. Это время вхождения во власть, овладения и обладания властью. При этом именно власть, дающая возможность проявить себя, становится той линзой, которая позволяет нам рассмотреть индивидуальные черты того или иного персонажа. Таким образом, время и отношение к нему человека приобретают подлинно исторический характер только в пространстве властных отношений. Кратические практики – это весь исчерпывающий универсум случаев, доступный и транслируемый византийским историком, центр устремлений и интересов человека. Если настоящее оказывается актуальным временем власти, которая производит и структуру реальности, и каркас идентичности, то событийным ядром будущего становится угроза утраты власти. Катастрофический горизонт ожидания, политическая проекция эсхатологии, образует последний временной регистр послевластия. «После власти»/«вне власти» – длительность, парадоксально начинающаяся параллельно с вхождением во власть. Ядром угрозы становится неминуемость и неуправляемость будущего: в тексте это время персональных страхов, предчувствий, снов, видений, знамений и предсказаний. События, оформляющие вторжение будущего в реальный план власти, как правило, слабо поддаются вербализации, представляя собой экспансию визуального образа, яркого, смутного, полисемантического, в пространство письма. Следует сказать, что именно наличие фактора неуправляемости делает этот временной регистр неподвластным практикам дескрипции.

Несколько иначе проблема соотношения времени нарратива и власти решается в отношении макроистории и имперской истории, прежде всего, поскольку подавляющая часть светских «вариантов» историй, созданных в Византии – это имперские истории. Но и здесь прошлое (в качестве исторического прошлого) для византийской цивилизации обретает смысл только в увязке с основным кратическим сюжетом – как нечто предшествовавшее самой империи. В византийском историческом дискурсе присутствует амбивалентное отношение к прошлому – утилитарное и символически-ценностное одновременное: «...Рынок всего знания, которое дает каждому то, в чем он нуждается... Одним словом, это сокровище, которое содержит различные драгоценности, это аптека, которая предлагает любой род лекарства, это как разнообразная библиотека, как живой наставник»¹. Историческое прошлое христианизированной империи лишено самодостаточности и ак-

¹ Цит. по Медведев И. П. Византийский гуманизм 14–15 вв. Л., 1976, С. 26.

туализируется лишь при столкновении с фигурой высшей власти. Его артикуляция дискретна, фрагментарна, имеет особую логику: прошлое представлено в качестве рефрена, повтора, предвещения настоящего сакрально-политического опыта. Повторяясь, прошлое становится инструментом организации актуального, будучи направленным на нейтрализацию непредсказуемости и нестабильности византийской реальности. Имплицитный и эксплицитный читатель такой истории — это одно лицо — император. История пишется для императора нынешнего и грядущего как наставление. Обрыв собственного, персонального прошлого в личной истории императора («до власти») восполняется вживлением фрагментов социально-политического опыта предшественников в сюжет актуального правления. По мнению Никифора Григоры, «...история делает своих читателей предвещателями, давая им возможность по прошлому судить о будущем».² То есть акцентированное описание прошлого оказывается кратической процедурой, позволяющей читателю, наделенному властью сегодня, упорядочить настоящее своей империи и сделать прозрачным ее будущее. Кристаллизующаяся в византийском историческом дискурсе философия прошлого, таким образом, маркирует ушедшие эпохи, исходя из острой актуальности их для настоящего, незаменимости для будущего. Без знания прошлого, то есть, без знания истории невозможно, как говорил Феофилакт Симокатта, «пройти истинным путем в жизни».³

Если индивидуальное прошлое — это маргиналии повествования, то философия прошлого, оформляющая коллективный опыт, — это универсальный справочник, компендиум, разархивированный арсенал исторических типов. Она уничтожает уникальность любого явления, низводит его до тривиального плагиата, обесценивает самые высокие достижения, заслуги, подвиги и разного рода выдающиеся деяния. Она лишает авторства персонаж, давая взамен иллюзию стабильности.

В то же время воплощенная в фигуре императора/человека облаченного государственной властью, имперская византийская история может реализоваться только как индивидуальная судьба человека. Фигура императора становится точкой нарративной сборки, более того, без нее не существует византийской «истории». Именно в судьбе императора имперская история находит свое истинное бытие. Характер имперской истории определяется особым статусом персоны императора, стоящего над всеми другими светскими и духовными правителями, и являющегося живым олицетворением «последнего Завета» Бога и Империи — Государь, вдохновленный и хранимый Богом, образ Бога на земле, он в истинной вере находит источник своей власти и подчиняясь божественной воле, он утверждает собственную мощь, ибо божественное величие автократора не может восторжествовать иначе, как признав превосходство пантократора. Эти две власти полностью сливаются, но единение происходит только при условии, что «единственный государь», которым является на земле Император, подчиняется «все-

² Памятники византийской литературы. М., 1968, С. 253.

³ Феофилакт Симокатта. История. М., 1957, С. 27.

ленскому могуществу» «единого Бога», его небесного суверена. В данной формуле как нельзя лучше реализована идея «личного завета», «последнего завета» империи (Императора) и Бога, описанная А. Шмеман⁴. В рамках такой трактовки путь к власти — это прямой путь к божественному избранничеству, а историческое описание данного пути — социализированная модель агиографии.

Если путь императора-автократора определен христианской метаперсоналогической моделью, то опыт императора-человека в византийской письменной реальности может быть прочитан как череда попыток выбора, принятий решений перед лицом собственной неуверенности и нестабильности социальной действительности. Поскольку в отличие от западной традиции, где генеология остается надежным механизмом обеспечения легитимности, давая право на вхождение во власть, византийскому императору власть зачастую достается по случаю, является трофеем авантюриста. Неслучайно именно в Византии впервые в христианской истории столь детально разрабатывается церемония производства и структурирования символического тела правителя.

Личная неуверенность не уничтожается сакральным актом миропомощания и дворцовым ритуалом, оставаясь тем психологическим фоном, на котором разворачивается история императора. Истоки этой неуверенности — в феноменальной мобильности ромейского общества, организующим началом которого выступает не сословная принадлежность, а фактор личной преданности: император окружал себя людьми, выходцами из разных слоев общества, сохранявшими ему верность. Гуттаперчевая структура социальной иерархии, радикальная перестройка которой происходила всякий раз со сменой императора, в рамках одного правления, тем не менее, выполняла свою стабилизирующую функцию. Личная преданность — это лучшее лекарство от нестабильности. Но именно поэтому социальный статус, производный от верности, был исключительно ненадежен — ни деньги, ни слава, ни связи не гарантировали сохранности позиций в социально-политической системе координат. Даже очень состоятельный ромей жил под постоянным гнетом опасности оказаться среди отвергнутых: «Сегодня ты день видишь в розовых красках, смеющимся, в шафранового цвета одеждах, весь светлым и сияющим. На завтра его уже увидишь сумрачным ты, подернутым темной пеленой, закутанным в непроглядный мрак и, короче говоря, потемневшим до неузнаваемости от сплошных облаков»⁵.

Психокультурная модель тотальной личной неуверенности своеобразна: она лишена глубокого пессимизма, характерного для западного средневекового и ренессансного опыта переживания нестабильности мира. Игра с Судьбой, имеющая исключительное значение для структурирования и осмысления персонального жизненного пути византийца, амортизирует травматичность эмоциональных переживаний. Как писал Прокопий Кесарийский, человек должен «ловить» в жизни случай, так как, когда пройдет благополуч-

⁴ Шмеман А. Исторический путь православия. М., 1993.

⁵ Агафий Миринейский. О царствовании Юстиниана. М.-Л., 1953, С. 45.

ный случай, он уже никогда не вернется. «Лучше предупредив несчастье, оказаться в безопасности, чем упустив счастливый случай, испытывать от врагов позор»⁶. В византийском дискурсе приоритетной оказывается активная, деятельная, авантюрная стратегия поступков исторического персонажа. Если стоит выбор между покоем и действием, то, как правило, избирается действие, потому что оно приносит больше пользы человеку и открывает дополнительные шансы на успех (культурный стереотип, выраженный Менаандром Протиктором). Отсутствие гарантированной стабильности, оборачивается для жителей культурного мира не только всепоглощающим чувством личной неуверенности, но и невероятной возможностью радикально поменять свой общественный статус, выйти за пределы, отведенные происхождением. И лишь императору не дано насладиться мобилизационным ресурсом нестабильности. Находясь на вершине социальной иерархии, он может переживать эту нестабильность исключительно в качестве угрозы своему статусу. В отличие от языческой имперской традиции правитель Византии не может рассчитывать на апофеоз, посмертное обожествление. В его власти — лишь осознание предельности своей позиции в системе земных социальных координат, когда история, созданная для своего идеального читателя — императора — становится утешением и предостережением одновременно. Историческое чтение здесь превращается в технику рефлексии, способ терапевтической проработки травматического опыта политической эсхатологии.

«Мятежность» сознания и «мятежность» действительности порождают особую поведенческую модель личности, для которой характерно острое осознание известной степени свободы человеческой воли. Эта свобода имеет место в мире, существуя в качестве поля индивидуального выбора: «Если бы предначертанное судьбой торжествовало во всем, то была бы отнята у людей свободная воля и право выбора и мы считали бы напрасными и бесполезными всякое наставление искусства и обучения: оказались бы пустыми и бесплодными надежды людей, ведущих достойный образ жизни»⁷. В условиях тотальной нестабильности человек просто вынужден на каждом шагу совершать подчас непростой выбор, в «византийской реальности» существует один путь — путь индивидуального выбора, необходимо принять решение, опираясь лишь на собственные силы, собственные знания и собственную уверенность. Право выбора — это залог ситуационной самостоятельности личности: «Всеми тому, что является непонятным, любят давать имя “судьба”. Но пусть каждый о подобных вещах судит по своему усмотрению, как ему угодно»⁸.

Византия — это пространство, наполненное бесконечными мятежами, заговорами, смутами и междоусобицами, это страна, где каждый решительный человек считает себя правым, где парадоксальным образом сочетается неограниченная власть императора, освященная теорией «божественного

⁶ Прокопий Кесарийский. Тайная история. М., 1994, С. 98.

⁷ Агафий Миринейский. О царствовании Юстиниана. М.-Л., 1953, С. 34.

⁸ Прокопий Кесарийский. Тайная история. М., 1994, С. 65.

выбора» Евсевия и апостасия — узаконенное право ведения гражданской войны против неугодного василевса. «Оскорбление величества» осуждалось общественным мнением, однако, мятежи против императоров как личности, недостойной трона, ведущей себя как тиран, не порицались, если мятежник выходил победителем.

В фокусе данного исследования находится «Алексиада» Анны Комнин, история ее царственного отца, содержащая в себе основные политико-темпоральные регистры. Алексей Комнин (годы правления 1081—1118) показан на всех этапах столкновения человека и власти, разработанных в византийском историческом нарративе. Интерес представляет как путь, пройденный этим персонажем, так и способы его нарративной фиксации. Уникальность «Алексиады» хорошо представлена отечественным историком Я.Н. Любарским⁹. Он характеризует «Алексиаду», приписывая ей ключевой статус в византийском историко-литературном дискурсе. К числу достоинств текста относится гармоничный, соразмерный и пропорциональный характер, целостный, устойчивый образ автора, единство главного образа произведения. Речь идет о сбалансированности нарратива, который, по сути дела, является первым большим историческим произведением с одним единственным действующим лицом. История империи и история императора сливаются воедино, образуя яркую персонологию власти, оснащенную всем необходимым арсеналом поэтико-риторических приемов. Текст построен по единому композиционному принципу: эпический размах описываемых событий выходит за рамки традиционной энкомии. С другой стороны текст аккумулирует многообразие повествовательных техник, разработанных в византийской исторической традиции от Амиана Марцеллина до Иоанна Мавропода и Михаила Атталиата, которые используются для описания стереотипии действий главного героя. Таким образом, «Алексиада» является тем уникальным текстом, где в завершенной форме представлены все сюжетные линии, связанные с вхождением человека во «власть». Сама структура и организация текста подчинена устойчивым шаблонам приобретения и трансляции власти, принятой в Византии (отсутствие строгой традиции династической преемственности, слабость церкви в вопросах престолонаследия, кардинальное влияние военных институтов на государственную организацию).

Анна Комнин в «Алексиаде» дает примечательную интерпретацию поведенческих стратегий в условиях кризисной византийской реальности. История начинается с конструирования кратической идентичности главного героя — слуги императора, полководца, потенциального мятежника Алексея Комнина. Политический потенциал, которым располагает на данный момент персонаж, определяет меру проработки его образа, а движение к власти оказывается главным вектором жизненного пути будущего императора. История Комнина — это литературно обыгранная телеология власти. По мнению византийского автора, достойна внимания не вся жизнь главного героя, а лишь самые грандиозные и значимые его «героические» деяния. Детство и юность центрального действующего лица выпадает за рамки пове-

⁹ Любарский Я. Н. Византийские историки и писатели. С.-Пб., 1999.

ствования, о них нет даже смутных воспоминаний. Существование Комнина «до власти» остается в сфере умолчания. Алексей Комнин получает возможность стать литературным персонажем, только заявив о своей претензии на обладание теми или иными властными полномочиями. Сюжет его жизни начинается с подвигов, совершенных на службе у императора. Состоя в должности наместника западных провинций, Алексей Комнин, в процессе успешной борьбы с целой чередой самозванцев, обосновавшихся на западных границах империи, самоидентифицируется как сильный и самостоятельный лидер, пользующийся популярностью за пределами своей армии. Его статус в системе кратических координат опасно амбивалентен и неустойчив: с одной стороны, он действует в качестве агента императорской власти, опираясь на делегированные ему по праву личной преданности полномочия, с другой — коллекция личных подвигов становится личным ресурсом власти/влияния. Намечается конфликт между двумя стратегиями концентрации символического военно-политического капитала, который и образует основную интригу первой части «Алексиады». Обремененный грузом двойной власти Комнин прибывает в столицу империи, где сталкивается с противостоянием придворных, стремящихся аннулировать личный политический капитал полководца, тем самым, вернув ему устойчивость в системе иерархических отношений. Комнин противопоставляет нейтрализующей его политическое влияние стратегии открытое протестное поведение: он и его брат вынуждены бежать из столицы, бросив там свою мать и семью. Побег придает аморфным политическим претензиям будущего императора большую отчетливость, помещает действия политического персонажа в систему координат, где он противопоставляет себя центральной власти. Он быстро перерастает в мятеж, а борец с самозванцами сам становится самозванцем.

Логика дальнейших событий описана автором «Алексиады» как последовательный процесс перераспределения власти: Комнин дистанцируется от делегированной ему императором власти, обретая собственные императорские амбиции. Это происходит постепенно: мятеж в начальной своей стадии был направлен не столько против императора, сколько против его душеприказчиков — варваров по происхождению. Но, войдя в азарт борьбы, братья Комнины стали подумывать и о большем. Военно-политическое действие производит, таким образом, самостоятельного политического агента, давая начало его истории.

Удивительная перемена или, скорее, измена не лишена логики. Византийская реальность в силу своей неуравновешенности представляла огромный простор для деятельности разного рода предприимчивых «героев». Заметим, что в обыденном сознании жителя византийского мира бунт не воспринимался трагически, а даже скорее напротив «...каждый день стекались к нему сородичи и находящиеся с ним в общении лица, ибо тогда было в обычае проявлять чрезмерную радость, во время переворотов людей прельщали надежды на призрачную славу, почет, звания и раздачу денег».¹⁰ Крайней формой выражения данного явления была апостасия — узаконенное право вести гражданскую войну против императора, считающегося тира-

¹⁰ Лев Диакон. История. М., 1974, С. 68.

ном. Это право канонизировано императором Константином Богрянородным в трактате «Об управлении империей»: «... если же василевс забудет “страх божий”, он неизбежно впадет в грехи, превратится в демона, и не будет держаться установленных отцами обычаев – по проискам Дьявола совершит недостойное и противное Божьим заповедям, станет ненавистен народу, синклиту и Церкви, будет недостойн называться христианином, лишен своего поста, подвергнут анафеме и в конце концов убит, как “общий враг” любым ромеем из “повелевающих” или “подчиненных”»¹¹. Обращает на себя внимание примечательная асимметрия, присущая осознанию и интерпретации апостасии на уровне обыденного и книжного сознания: если для жителя византийского культурного мира всякий переворот содержит в себе элемент обновления, то для книжника, возвращающего разорванному миру целостность в ходе повествования, апостасия становится синонимом хаоса, в христианской транскрипции обретающего очертания апокалипсиса.

Профанные прочтения апостасии не лишены курьезов, парадоксов, исторических неувязок, тавтологий, параллелизмов. С мятежником история проделывает злую шутку, превращая его в фигуру повтора, а сам мятеж подвергая тиражированию. Вот и в случае Алексея Комнина не обошлось без анекдотического эпизода. Уже провозглашенный своими сторонниками василевсом, он вдруг узнает, что появился еще один претендент на престол – наместник императора в восточных провинциях Меллесин. Параллелизм власти умножает тот факт, что прежний император до сих пор не свергнут. Византийский сценарий мятежа основан на первенстве процедуры провозглашения новой власти над фактической нейтрализацией власти предшественника. Дискурсивная процедура предшествует физическому действию, а порою делает его необязательным.

На смену политической претензии приходит детализированное описание процесса приобретения власти. После провозглашения власти нового императора, осуществленного его ближайшим окружением, в поле внимания автора «Алексиады» попадают стратегии легитимации мятежника. Достоверность власти обнаруживается через тех, кто нарек самозванца императором – «людей близких по родству»: «Эти люди находились при Комнинах, хлопотали, мысли каждого направляли в пользу своего предприятия, напрягали, как говорится, все силы, и искусно пустили в ход все пружины дела, чтобы провозглашен был Алексей»¹². Примечательно, что на тех, кто был причастен к декларированию новой политической идентичности главного персонажа, ложится ответственность за аргументацию и обоснование права Комнина на императорский престол. Таким образом, легитимация обретает интерактивный характер, становясь производной от коммуникативных сетей, в которые включен император, и коммуникативного же ресурса, которым располагают его сторонники.

¹¹ Цит. по Лурье С. В. От древнего Рима до России 20 века: преемственность имперской традиции // *Общественные науки и современность*. 1997/4, С. 127.

¹² Комнина Анна. Сокращенное сказание о делах царя Алексея Комнина (Алексиада). СПб., 1859, С. 106–107.

С другой стороны, существует необходимость внутреннего обоснования права на власть. Оно реализуется через внутреннее осознание самим самозванцем готовности сделать роковой выбор и испытать судьбу. Речь идет о еще одной особенности поведенческой модели личности в условиях нестабильности культурного мира Византии. Это практика самоутверждения личности посредством приписывания себе ореола богоизбранности. В самый напряженный момент противостояния Алексей Комнин «вдруг припоминает» историю, произошедшую с ним и его братом достаточно много времени назад у города Карпиана. Здесь он встретил «загадочного путника... по виду он казался священником, с обнаженной головой, седыми волосами и косматою бородой..., подойдя к Алексею он произнес: "...успевай и царствуй истины ради, и кротости, и правды", и к сему прибавил: "Самодержец Алексей!" ... сказав это как бы пророчески он исчез»¹³. «Сам Алексей, произошедший с ним случай у Карпиан, наружно и в разговоре с братом (который собственно и «припомнил» давнюю историю — автор), сказанное признавал конечно выдумкой и называл обманом, хотя и тайно представлял в уме, явившегося ему священного мужа»¹⁴.

В данном случае важно то, что факты собственной биографии оказываются подвергнуты самофальсификации для достижения определенного качества «избранности». Процедура самосакрализации в случае Комнина основана на рескрипции и телеологической модификации памяти, которая обслуживает зарождающуюся политическую идентичность. В данном случае право прогностической идентификации делегировано старцу — символической фигуре безусловного авторитета. Сам вспоминающий выступает в роли рассказчика собственной истории, не претендуя на право авторства императорской идентичности, обнаруживая ее доселе молчащее, но от того не менее действенное сакральное измерение. В процессе самоутверждения исторического персонажа в качестве императора, политическая мистификация, описанная при помощи приемов из агиографического репертуара сакральной апологетики, становится ядром его модели поведения, разворачивающегося на этапе вхождения во власть. В акте сакрализованной апологетики проявляется желание быть не природным, а скорее сверхприродным императором, который всему обязан некой мистической избранности, а не своему происхождению, роду или сану. Подобные желания и расчет в полной мере совпадали с практикой культурного мира Византии: «Его (императора) сан мыслился как некоторая потусторонняя реальность в отношении к "природе" и "роду". Государь мог приходить "ниоткуда", ибо его власть действительно мыслилась данной свыше: и в любом случае власть эта принимала облик силы, приложенной к телу общества "извне". Ниоткуда — свыше — извне: три пространственные метафоры, слагающиеся в единый образ»¹⁵.

Следующий этап повествования, вскрывающий византийскую поведенческую модель личности, — это переговоры Алексея Комнина с альтернатив-

¹³ Комнина Анна. Сокращенное сказание о делах царя Алексея Комнина (Алексиада). С-Пб., 1859, С. 108.

¹⁴ Там же.

¹⁵ Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. Л., 1977., С. 4.

ным самозванцем Меллесином. Процесс переговоров происходит в обстановке полного неведения с обеих сторон о том, что происходит в «их» империи. К любым поступающим сообщениям они относятся с недоверием и всячески стараются их перепроверить. Недоверие человека к «событийно-информационному» полю «византийской реальности» – это третья особенность поведенческого стереотипа личности в условиях нестабильности.

В такой ситуации особое значение получает персональный коммуникативный навык политического агента и его риторическое мастерство. Конкуренты, Комнин и Меллесин, и их сторонники вовлечены в активную переписку, причем эпистолярный контакт остается на протяжении всего противостояния главной формой выяснения отношений и агитации. Комнин пишет войскам Меллесина и наоборот. В этом политико-риторическом поединке эффективное высказывание, как никогда, становится эффективным политическим действием. Перенос политического конфликта в дискурсивное пространство – стратегия, осознанно избранная Комнином. Он отказался от предложения Меллесина поделить между ними империю на Запад и Восток, а вместо этого затянул переговоры, погрузив их в бесконечную переписку, умело интонированную с помощью искусства обмана и введения в заблуждение. Здесь находят свое отражение те черты византийской политики, что в последствии составят ядро стереотипа хитроумной, коварной и лукавой политической практики Византии. Следует отметить, что Анна Комнин подчеркивает особую роль эпистолярной пропаганды, благодаря которой ее отцу удалось переломить ход событий, вызвав массовый отток сторонников Меллесина и ослабив его армию настолько, что дальнейшее силовое противостояние потеряло смысл.

История Комнина совмещает регистры «во власти» и «после власти», поскольку с момента восшествия на престол император живет в условиях перманентного поражения, растянутого вдоль оси правления. Удержание власти в условиях перманентной смуты составляет основную интригу третьей части «Алексиады». Первым эпизодом нового правления становится серия попыток стабилизировать зыбкую социально-политическую реальность империи: «... он надеялся опять вывести царство из волнистого моря затруднительных обстоятельств и ввести его в безопасную пристань»¹⁶. Метафоры жизни-моря, государства-корабля, императора-кормчего составляют основу образного ряда византийского политического дискурса, что лишь актуализирует ощущение тотальной нестабильности.

Комнин восстанавливает структуру государственной власти, подвергнутой эрозии за время правления предшественников, создает новую идеологическую бюрократическую реальность. Он авторизирует коммуникативное пространство империи, устраняя полифонию интеллектуально-политической полемики, навязывает политическому дискурсу монологическую доминанту. Это нашло яркое отражение в деле Иоанна Итала: глава философов Кон-

¹⁶ Комнина Анна. Сокращенное сказание о делах царя Алексея Комнина (Алексиада). СПб., 1859, С. 144.

стантинополя подвергается преследованиям. Под давлением Алексея Комнина взгляды философа были осуждены церковью, а сам он предан анафеме и заключен в монастырь до конца жизни. Кроме того, Комнин выступает в роли защитника истинной веры, организуя борьбу с ересями, возвращая целостность Церкви и демонстрируя, таким образом, сакральную ипостась христианского правителя-воина. Новая реальность, очертания которой проступают в силовых политических действиях императора, призвана обезопасить автократора от возвращения к началу истории его собственного вхождения во власть, появления новых претендентов на царскую диадему.

Будучи смысловым центром византийского исторического нарратива, идея утверждения порядка становится фундаментальным актом мироустроения, конструирования приобретенной ойкумены. Утверждение порядка реализуется одновременно на нескольких уровнях византийского универсума: на уровне административной архитектоники, коммуникативной структуры и на уровне риторики и поэтики. Текст выступает в роли целостного тела, которое должно подчиняться тем же законам, что и политическое целое. Отсутствие ясности и иерархической организации в тексте подобно беспорядку в социуме, а некорректное, с точки зрения критического наблюдателя, риторическое действие уподобляется физической агрессии. Примечательна характеристика, данная дочерью императора Анной Комнин манере философствования Иоанна Итала: «... слово его хмурилось и дышало как бы крайней досадой, сочинения же наполнялись диалектическими изворотами, так что в устной речи было больше логического хода, чем в сочинениях. Запутывая и приводя в смущение ум собеседника, он душил их непрерывными вопросами. Вступив с ним в спор, уже нельзя было потом выйти из этого лабиринта»¹⁷. Анна Комнин эмоционально предьявляет стилистические претензии, «беспокойное» и «вопрошающее» слово философа расценивается как почти что государственная неверность и измена.

У политической критики риторики была своя предыстория. Автор знаменитого «Мирибиблиона» патриарх Фотий (своего рода собиратель и устроитель византийской литературной империи), разбирая вопросы литературного вкуса, в качестве основного требования к тексту выдвигал требования ясности и отчетливости. Для Фотия путаность, темность и неясность текста были свидетельством интеллектуальной ереси. Вот как он характеризовал стиль писателя Евнопия: «...чудовищное громогласие и назойливость созвучий; неудобоваримость речений, слова настолько стиснуты и с шумом ударяются друг о друга, так что читающий принужден с натугой поражать воздух своими губами, если желают, чтобы отчетливо прозвучало то, что сочинитель озвучил, притянул, сдвинул, перемешал и подверг усечению провалы мысли, которых у него не мало, он силится затенить непонятностью, скрывая таким образом слабые места своих рассуждений»¹⁸.

Византийский интеллектуал Фотий пытался пресечь проникновение в словесную сферу культурного мира Византии хтонической реальности, по-

¹⁷ Комнина Анна. Сокращенное сказание о делах царя Алексея Комнина (Алексиада). С-Пб., 1859, С. 249–250.

¹⁸ Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературы. М., 1996, С. 250.

добно тому, как три века спустя Алексей Комнин борется с политическим и религиозным хаосом, противопоставляя ему иерархическую отточенность слова и дела. Сфера слова должна быть защищена от провалов мысли, различных затенений, непонятности и непостижимости, равно как и кратическая сфера ограждается от многоначалия и неустойчивости. Процесс против Итала и критика Евнопия — это действия одного порядка, только реализованные на разных уровнях социальной реальности. Развенчание «неясного и смутного» стиля Евнопия, критика диалектических изворотов, запутанности, «лабиринтности» манеры изложения философа может быть истолкованы как попытки изгнать, изжить повторяющиеся и воспроизводимые в структурах языка и мышления модели кризисной византийской действительности. Однако, в отличие от случая с Фотием (где дело ограничилось стилистическими претензиями и литературной критикой), процесс против Иоанна Итала есть изначально продуманная и целенаправленная акция, освященная государством и патронируемая самим императором. Продолжением этой процедуры упорядочивания реальности станет открытая борьба с еретиками (павликианами).

Однако смутность литературного и политического стиля эпохи проступает сквозь все упорядочивающие действия нового самодержца. Смута неизменно содержится в маргиналиях политического текста, она вновь приходит с окраин империи. В византийской исторической словесности символ границы играет особую предостерегающую роль. Граница — это предел ойкумены, освоенного культурой пространства, одновременно это маргинальная зона из которой всегда исходит опасность. Граница — это прибежище еретиков, государственных преступников и самозванцев, источник постоянной внешней и внутренней угрозы. Не случайно история пребывания Комнина у власти перемежается эпизодами угрозы из пограничья — событиями на западной и восточной границах империи. Более того, именно постоянное давление на центральную власть с окраины образует специфическую конфигурацию политического универсума Византии. Таким образом, угроза выпадения из власти сопутствует бурной политической деятельности политика, образуя особое катастрофическое измерение императорской власти.

Вот и когда на западе ойкумены появился Роберт Гуискар — сицилийский норманн, намеривающийся занять константинопольский престол — Комнин подвергся первому, но не последнему испытанию своей власти, в ходе которого и произошло окончательное оформление манеры политического правления императора. История Роберта Гуискара примечательна интригой двойного самозванства: его черновой вариант предполагал использование подставного лица, выдаваемого за свергнутого императора Михаила VII Дуки, в итоге же сицилиец сам становится опасным претендентом. Сам император Алексей Комнин вынужден был несколько раз обращаться в бегство, дабы спасти свою жизнь. Эпичность описания противостояния под Диррахием Алексея Комнина и Роберта Гуискара позволила автору «Алексиады» описать политических противников в масштабе мифических героев «Илиады» Гомера.

В ходе описания этой борьбы артикулируется четвертый элемент поведенческого стереотипа личности в условиях нестабильного культурного ми-

ра Византии — особое отношение человека к переживаемому им поражению. Несчастье, неудача воспринимается действующим лицом спокойно, поражение не лишает человека желания продолжить борьбу. Поражение, неудача в каком-либо предприятии приобретает повседневный, обыденный характер. В век нестабильности оно рассматривается как естественное событие, не вызывающее индивидуального надлома и глубокой депрессии.

Пока есть надежда, житель византийской реальности продолжает испытывать Судьбу. Именно ее фигура гармонизирует мир побежденных и мир победителей, через ее образ происходит личное принятие поражения и несчастья в византийском культурном мире: «Если бы рок со смертью не обернули судьбу ромеев вспять, то ничего не помешало бы им... расширить границы своего владычества на восток до Индии, а на запад до самых пределов обитаемого мира»¹⁹. Судьба часто представляется в образе пути, дороги трудной и злополучной, которую, однако необходимо пройти. За личным поражением скрывается нечто большее, чем просто неудача, крушение сиюминутных человеческих намерений, это своего рода ключ к множественности исходов одного и того же события в нестабильной византийской реальности. Судьба всякий раз открывает новые перспективы для предприимчивого ромея: «ведь провидение презиращее грубый и заносчивый дух человека, укрощает его, подавляет, обрушивает в ничто и непостижимым образом, ему одному известными судьбами направляет нашу жизнь к полезному».²⁰ Языческая статуя Судьбы, стоявшая в центре Константинополя, пользовалась неизменной популярностью у горожан, за что и была убрана христолюбивыми властями в X веке. Это произошло задолго до вхождения во власть Алексея Комнина, но и после конца его правления Судьба сохраняла свое влияние на картину мира граждан империи. Византийцы сохраняли веру в нее даже в самых катастрофических обстоятельствах, избегая описания катастрофы в деталях, ибо истинный византиец не ведал катастрофы.

В византийской письменной культуре существуют лишь несколько источников, сюжетом которых является катастрофа как таковая: «О покорении и пленении, произведенном персами в аттической Афине» (1456 г.), «Плачь о Тамирланге», «Плачь четырех патриархов» (1463 г.), «Чума на Родосе» (1500 г.). В текстах отражена финальная стадия византийской катастрофы — турецкое нашествие. Эти произведения выполнены в нетипичной для византийской словесности манере плача или причитания. Костяк их риторики составляют вопросы, на которые нет и не может быть ответа, они лишь фиксируют эмоциональное состояние людей, переживающих крушение культурного мира, частью которого они являлись. После коллективных риторических вопросов нет и не может быть повествования. Распад империи и распад наррации происходят параллельно.

¹⁹ Феофилакт Симокатта. История. М., 1957, С. 46.

²⁰ Там же, С. 53.